

Революция с позиций постклассической теории права



Честнов И.Л.,

доктор юридических наук,
профессор кафедры теории и истории государства и права
Санкт-Петербургского юридического института (филиала)
Академии Генеральной прокуратуры РФ
E-mail: ichestnov@gmail.com

Аннотация. Автор анализирует революцию как политико-правовое явление. С позиций постклассической методологии понятие революции наполняется новым содержанием. Сегодня концепт революции — это социальное представление, конструируемое властными политико-правовыми дискурсами, негативно воспринимаемое населением.

Ключевые слова: революция, теория права, постклассическая методология.

Революция — чрезвычайно важное социальное событие, являющееся объектом разных социальных наук. Междисциплинарность этого феномена включает, несомненно, юридический аспект, так как при революции (или в результате ее) происходит резкий слом существующего политического режима, господствующей правовой системы. Поэтому юридическая наука не может не изучать это сложное и противоречивое явление. Право, будучи формой иных общественных отношений (политических, экономических и т.д.), изменяется вместе с социальными трансформациями, одним из вариантов которой как раз и выступает революция¹. Следовательно, анализ эволюции права, ее «точек бифуркации», механизма воспроизводства правовой реальности не может не включать сущность и формы проявления революции.

Особую значимость данная тема приобретает сегодня — в связи с чередой новейших («цветных», «оранжевых» и т.п.) революций и в преддверии 100-летия революции 1917 г. Важность теоретического осмысления революции как события, выступающего одним из механизмов изменения права, свидетельствует о необходимости ее включения в предмет теоретико-правовой науки. В то же время изменения в методологии социогуманитарного знания, в том числе юридического, связанные с формированием постклассической эпистемологии, еще в большей степени актуализируют заявленную тему исследования, вынуждают искать новые подходы в описании и объяснении революции как сложного социального явления, всегда имеющего юридическую форму внешнего выражения.

Постклассическая методология исходит из того, что социальная реальность (включая, конечно, и правовую ее момент, аспект), определяемая существующими сегодня социальными представлениями, принципиально вероятност-

на, нестабильна и сложна, подвержена рискам саморазрушения. Такая неопределенность, связанная как со сложностью мира, так и с ограниченностью человеческого разума, порождает признание многогранности, потенциально — неисчерпаемости любого социального явления и процесса и невозможности одного «единственно правильного» его описания и объяснения; относительности — его относительности к социуму как господствующим социальным представлениям, образующим содержание социальных структур (статусов и связей между ними) и другим социальным феноменам; контекстуальности как исторической и социокультурной обусловленности и дополнительности как взаимообусловленности разных аспектов и сторон социального явления или процесса; сконструированности, а не заданности «природой вещей» всех социальных явлений и процессов.

В связи с этим возникает неопределенность в категоризации, классификации и квалификации социальной (и правовой) реальности. Приходится констатировать, что сегодня невозможно дать однозначную оценку, в том числе юридическую, сложного социального явления или процесса. Это связано, во-первых, с невозможностью рассчитать отдаленные последствия любого более или менее сложного социального явления², а также с его дисфункциональностью, имманентно «скрывающейся» за любой функцией. Во-вторых, это вытекает из несоизмеримости различных моральных, политических, мировоззренческих (и юридических, всегда связанных с теми и другими) точек зрения наблюдателя, производящего оценку социального явления. Так, например, квалификация действий, направленных на защиту государственного суверенитета, другой стороной может быть оценено как нарушение права нации

¹ Любое социальное изменение сопровождается правовой инновацией.

² Любое, даже самое элементарное действие связано с предшествующими действиями этого человека, других людей, с которыми он связан его (и их) потребностями, ценностями, интересами, мотивами, многочисленными внешними обстоятельствами («вещами») и т.д.

на самоопределение, «гуманитарная интервенция» при массовом нарушении прав человека другими признается как вторжение во внутренние дела государства, то есть попрание государственного суверенитета и т.п. Неустрашимость субъективности позиции наблюдателя, вытекающая из принципа дополнительности, не дает возможности описать и объяснить (квалифицировать) такого рода ситуации одним «единственно правильным» способом. З. Бауман прозорливо пишет, что сегодня «становится все менее и менее ясно, что должен предпринять [политический. — И.Ч.] институт для улучшения ситуации в мире, — даже если рассмотреть маловероятный случай, когда он способен сделать это. Все картины счастливого общества, нарисованные разными красками и множеством кистей за последние два столетия, оказались либо несбыточной мечтой, либо — если их воплощение в действительности и было объявлено — нежизнеспособными [конструкциями]. На практике приносит столько же несчастий, сколько и счастья, если не больше»³. В этой связи можно согласиться с утверждением Л. Болтански и Л. Тевено, что неопределенность — конечно, относительная, не абсолютная — составляет «саму суть человеческого действия»⁴.

Отсюда можно сделать важный методологический вывод: революция — это не «объективная» данность, а социальный конструкт, результат оценки, прежде всего юридической, номинации и квалификации определенного социального явления как «революции». Социальные явления существуют как концепты, социальные представления, в которых интериоризируются социальные действия⁵. Это не означает, что они — социальные явления — не существуют «на самом деле». Но обладать социальным бытием возможно, только если некое событие замечено, ему дано имя (номинация), оно подведено под категорию уже известных явлений (квалифицировано).

Традиционно революция определяется как радикальная смена власти. Известный английский социолог Э. Гидденс пишет: «В обыденной жизни этот термин имеет весьма различные толкования. Например, *государственный переворот*, состоящий в простой смене одной группы лидеров на другую без какого-либо изменения

политических институтов и системы власти, вообще не может считаться революцией в строгом социологическом смысле. Революцией называются только те события, которые удовлетворяют ряду условий. 1. Последовательность событий не является революцией в том случае, если в ней не присутствует *массовое социальное движение*. Данное условие позволяет исключить из категории революций такие ситуации, когда какая-либо партия приходит к власти в результате выборов, или когда власть захватывается небольшой группой, например, военными. 2. Революция ведет к *широкомасштабным реформам или изменениям*. Джон Данн указывает, что, согласно этому принципу, люди, пришедшие к власти, должны на самом деле быть более способны управлять данным обществом, чем те, кого они свергли; лидеры революции должны суметь достичь, по крайней мере, некоторых поставленных ими целей. Общество, в котором движение такого рода овладело только внешними, формальными атрибутами власти, но затем оказалось неспособно к реальному управлению, не может считаться революционным. Оно находится скорее в состоянии хаоса или ему, возможно, угрожает распад. 3. Революция предполагает *угрозу насилия или его применение* со стороны участников массового движения. Революция — это политические изменения, происходящие при противодействии правящих кругов, которые не могут быть принуждены отказаться от своей власти иначе как под угрозой насилия или путем его действительного применения. Собирая воедино все три критерия, мы можем определить революцию как захват государственной власти путем насилия, совершаемый лидерами массового движения, полученная при этом власть используется в дальнейшем в целях инициации радикальных социальных реформ»⁶.

В то же время необходимо еще раз заметить, что сами по себе государственный переворот или смена власти, насильственность таковой, характер изменений, происходящих в обществе, насилие, сопровождающее эти изменения, массовость социального движения, иницирующего эти изменения, — все это результат оценки, а не «объективность» социальных процессов. Тот же Э. Гидденс в другой работе справедливо утверждает: «Суть проблемы, однако, состоит в том, что рефлексивный характер социальной жизни людей ниспровергает объяснение социальных изменений с позиций простой и независимой совокупности причинно-следственных механизмов. Осознание того, что происходит “в” истории, становится не только неотъемлемой частью этой “истории”, но и средством ее преобразования»⁷.

³ Бауман З. Индивидуализированное общество. М.: Логос, 2002. С. 141.

⁴ Болтански Л., Тевено Л. Критика и обоснование справедливости: Очерки социологии градусов. М.: НЛО, 2013. С. 523. По их мнению, это связано с тем, что «окончательное закрепление квалификаций за людьми, какими бы они ни были, привело бы к разрушению человечества» (Там же. С. 522).

⁵ «“Объекты” не существуют независимо от концептуальных схем. Мы разделяем мир на объекты, вводя ту или иную схему описания», — утверждает Х. Патнем. (См.: Putnam H. Reason, Truth and History. Cambridge: Cambridge University Press, 1981. P. 75).

⁶ Гидденс Э. Социология. М.: УРСС, 1999. С. 568.

⁷ Он же. Устроение общества: Очерк теории структуризации. М.: Акад. проект, 2003. С. 330.

В этой связи принципиально важно для юридической науки проанализировать кто и как, с позиций (или на основании) чего производит оценку социальных изменений, квалифицируемую как «революция». Это делает власть в широком смысле слова. Именно носители юридической и символической власти (эти аспекты взаимодобавляют друг друга) с помощью дискурсивных практик производят социальные значения, в том числе селектируя те или иные социальные явления в качестве социально и юридически значимых. Именно власть, используя свое монопольное право на номинацию⁸, а тем самым на объявления существующими и значимыми тех или иных социальных явлений, определяет такие, казалось бы, «естественные» явления, как возраст (например, граница старости), болезнь, безработица, самоубийства, семья и др., имеющие в том числе юридические последствия⁹. Именно власть формирует общественное мнение, которое, как заявил в 1972 г. П. Бурдьё, не существует как некая объективная данность (вне опросов общественного мнения), «как императив, получаемый исключительно путем сложения индивидуальных мнений» или «нечто вроде среднего арифметического или среднего мнения»¹⁰. Более того, именно власть, действующая в современном обществе преимущественно как символическая власть, производит конструирование социальных классов¹¹.

⁸ О власти коммуникации (дискурса) и коммуникации как власти см.: Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. М.: Касталь, 1996. С. 51–52, 111 и след. О символическом (то есть коммуникативном) господстве см.: Бурдьё П. О символической власти // Бурдьё П. Социология социального пространства. М.; СПб.: Ин-т эксперимент. социологии: Алетейя, 2005. С. 87–97.

⁹ О социальном конструировании таких объектов см.: Ленуар Р., Мерлье Д., Пэнто Л., Шампань П. Начала практической социологии. М.; СПб.: Ин-т эксперимент. социологии: Алетейя, 2001. «Возрастные категории <...> являются также хорошим примером ставок, на которых основана всякая классификация: в самом деле, ясно, что при манипулировании возрастными категориями речь идет о проблеме власти, связанной с различными моментами жизненного цикла, поскольку характер и основания власти различаются в зависимости от целей, свойственных каждому классу и каждой фракции класса в межпоколенческой борьбе. То же самое происходит с восприятием профессиональной деятельности как труда, о чем свидетельствует борьба относительно возраста выхода на пенсию или признания женской домашней работы или работы по уходу за детьми» (Там же. С. 91).

¹⁰ Бурдьё П. Общественное мнение не существует // Бурдьё П. Социология политики. М.: Socio-Logos, 1993. С. 163. См. также: Шампань П. Делать мнение: новая политическая игра. М.: Socio-Logos, 1997.

¹¹ Наиболее важным вопросом, по мнению П. Бурдьё, является «вопрос о политическом, об истинных действиях агентов, которые во имя теоретического определения “класса” предписывают его членам цели, официально наиболее соответствующие их “объективным” интересам, то есть интересам теоретическим, а также вопрос о работе, посредством которой им удается произвести, если и не мобилизованный класс, то веру в его существование, лежащую в основе авторитета его официальных представителей» (Бурдьё П. Социальное пространство и генезис «классов» // Бурдьё П. Социология политики. С. 62–63).

Таким образом, именно власть конструирует социальную (и правовую) реальность в противодействии (или борьбе, как утверждают постструктуралисты) с другими социальными группами. Суть конструирования символической властью социальной реальности замечательно сформулирована П. Бурдьё в следующем пассаже: «Познание социального мира, точнее, категории, которые делают социальный мир возможным, суть главная задача политической борьбы, борьбы столь же теоретической, сколь и практической, за возможность сохранить или трансформировать социальный мир, сохраняя или трансформируя категории восприятия этого мира.

Способность осуществить в явном виде, опубликовать, сделать публичным, так сказать, объективированным, видимым, должным, то есть официальным, то, что должно было иметь доступ к объективному или коллективному существованию, но оставалось в состоянии индивидуального или серийного опыта, затруднения, раздражения, ожидания, беспокойства, представляет собой чудовищную социальную власть — власть образовывать группы, формируя здравый смысл, явно выраженный консенсус для любой группы. Действительно, эта работа по выработке категорий — выявлению и классификации — ведется непрерывно, в каждый момент обыденного существования, из-за той борьбы, которая противопоставляет агентов, имеющих различные ощущения социального мира и позиции в этом мире, различную социальную идентичность, при помощи различного рода формул: хороших или плохих заявлений, благословений или проклятий, злословий или похвал, поздравлений, славословий, комплиментов или оскорблений, упреков, критики, обвинений клеветы и т.п. Неслучайно *kategorothai*, от которого происходят категории и категоремы, означает «обвинить публично»¹².

Таким образом, правовая инновация, квалифицирующая с юридической точки зрения соответствующее социальное явление, в том числе революцию, как важнейшая составляющая правовой политики — это результат борьбы социальных групп за право официальной номинации, категоризации и квалификации социальных явлений как юридически значимых, правомерных/противоправных. Проблему квалификации некоторых социальных явлений как общественно опасных в международной политике достаточно подробно анализируют сторонники Копенгагенской школы международных отношений. По их мнению, политико-юридическая квалификация представляет собой результат борьбы за право навязывать свое представление (установить символическую гегемонию) в международной политике. Они — исследователи Копенгагенского

¹² Там же. С. 66–67.

университета — в 90-е гг. XX в. обратили внимание на то, что, с точки зрения современной политической науки, невозможно указать, какая из угроз более реальна и значима, а необходимо акцентировать внимание на характере политических дискуссий по проблемам общественной безопасности, то есть почему именно она (эта угроза) оценивается таким образом¹³. В связи с этим заявляется, что невозможно дать универсальное определение безопасности или перечень всех чрезвычайных ситуаций. Важнее исследовать, как и почему некоторые ситуации квалифицируются как чрезвычайные, угрожающие общественной безопасности и как изменяется их интерпретация со временем. Так, истерия в массовом общественном сознании, во многом инициированная СМИ по поводу событий 11.09.2001 г., привела к внедрению новых запретов и контролируемых инстанций, но не обеспечила предотвращение новых терактов. Американский исследователь Д. Кэмпбелл еще в 1992 г. писал, что опасность не есть объективное состояние. В мире существует множество опасностей: инфекционные болезни, несчастные случаи, политическое насилие, имеющие чрезвычайные последствия. Но не все они интерпретируются как реальные угрозы. Все современное общество пронизано угрозами и опасностью. События или факторы, которые получают такую оценку, интерпретируются с помощью измерения опасности. Достоверность этого процесса зависит от субъективного восприятия остроты этих «объективных» факторов¹⁴. Выявление тех из них, которые квалифицируются экспертами и населением как реальные угрозы и возможные способы реагирования на них и их предотвращения — важнейшая задача современной науки¹⁵. Все это, несомненно, относится и к юридической квалификации революции.

¹³ См.: Buzan B., Wæver O., Wilde J. *Security: a New Framework for Analysis*. London: Boulder, 1998.

¹⁴ См.: Campbell D. *Writing Security: United States Foreign Policy and the Politics Identity*. 2 ed. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1998. P. 1–2.

¹⁵ А.В. Добрынин по этому поводу пишет, что одной из форм манипулирования общественным сознанием (правосознанием) являются «постоянно возникающие в обществах состояния моральной паники. В результате подобных манипуляций современное общество оказывается дезориентировано перед лицом реальных социальных угроз и деморализовано неадекватной реакцией на явления, представляющие скорее виртуальную, нежели действительную опасность. Классическим примером такой дезориентации и деморализации можно считать ситуацию с восприятием преступного поведения в сегодняшней Литве. В публичных дискуссиях практически игнорируется тот факт, что по уровню убийств страна уже не первый год занимает первое место в Евросоюзе. Однако вместе с тем в последние полтора года не без «помощи» местных средств массовой информации практически все общество втянуто в бурное обсуждение вопросов педофилии, приоритетность которой в контексте нынешней криминальной ситуации более чем сомнительна» (Добрынин А.В. Теоретические предпосылки конструирования девиантности // Конструирование девиантности / сост. Я.И. Гишинский. СПб.: ДЕАН, 2011. С. 30).

Сложность юридического определения революции связана, ко всему прочему, с тем, что понятие «революция» относится к числу так называемых сущностно оспоримых. Проблема определения таких понятий, как справедливость, свобода, демократия в силу их принципиальной многозначности, комплексности, ценностной природы критериев определения в политологии с легкой руки У. Гэлли получила наименование «сущностной оспариваемости» («essential contestability»). Такого рода понятия (к которым вполне уместно отнести и понятие революции), — писал Гэлли, — не имеют приоритета друг перед другом, поэтому каждая точка зрения может быть теоретически обоснована и оспорена. Более того, установить эмпирическим путем адекватность этих принципиально разных позиций невозможно. Поэтому спор между ними в принципе неразрешим¹⁶.

В том числе поэтому существует определенная антиномичность в определении и наполнении конкретным содержанием революции в официальной юридической науке со стороны господствующей властной группы, в обыденном массовом сознании и в оппозиционных (негосподствующих) социальных группах (как на уровне элиты, так и обыденного сознания). Это говорит не только о различных трактовках понятия революции в разных научных традициях (направлениях), но и различии оценок революции.

Термин «революция» как социально-политическое понятие возник в XIV в. и означал движение небесных светил по кругу, другими словами, постоянное возвращение¹⁷. В XVII в. этот термин проникает в социальную науку и означает циклическую смену правителей. И только в конце XVIII — начале XIX вв. это понятие приобретает современное значение — резкая смена общественного (прежде всего политического) устройства. В XIX в. революция начинает рассматриваться как неизбежный, решающий процесс на пути прогрессивных исторических изменений, побуждающий и ускоряющий рациональные процессы. С работами К. Маркса концепция революции вошла в сферу идеологии как мощный инструмент критики капитализма и

¹⁶ См.: Gallie W. *Essentially Contested Concepts* // *Proceedings of the Aristotelian Society*. 1955–1956. Vol. 56.

¹⁷ Считается, что впервые термин «революция» вошел в научный оборот через сочинение Николая Коперника «*De Revolutionibus Orbium Coelestium*» («О вращении небесных тел») (1543). В то же время латинское слово «*revolutio*» впервые появляется в христианской литературе поздней античности и применяется к таким явлениям, как отваленный камень в захоронения Христа или к странствиям души, в Средние века оно обозначает круговое движение светил вокруг Земли. В XII в. это слово в его астрономическом значении возникает и в разговорных европейских языках; однако довольно скоро, в XIV столетии, начинает применяться в политическом смысле для указания на гражданский беспорядок и смену власти. (См.: Магун А.В. *Отрицательная революция: к деконструкции политического субъекта*. СПб.: Европ. ун-т в СПб., 2008. С. 37–38).

как основание для альтернативного коммунистического проекта¹⁸.

Однако в XX в. этот «миф о революции» начинает рушиться; его подрывают трагические события реальных революций. «Два вопроса не могут не возникнуть в общественном сознании. Во-первых, почему эти революции никогда не заканчиваются тем, о чем мечтали революционеры? По иронии истории они часто завершаются прямо противоположным, выливаясь в еще большую несправедливость, неравенство, эксплуатацию, подавление и угнетение. Во-вторых, почему разум так часто заменяется силой, давлением, бессмысленным уничтожением? Почему на смену революционерам прометеевского типа всегда приходят агрессивные, иррациональные, террористически настроенные толпы? Революции уже не воспринимаются как воплощение высшей логики истории, их не считают более прогрессивными. Распространенные метафоры — вулканическое извержение, степной пожар, землетрясение — показывают, что революции рассматриваются скорее как несчастья, а не как спасение или искупление человечества¹⁹. В большинстве своем люди уже не мечтают о революциях, а боятся их»²⁰.

Эта смена оценки революции на прямо противоположную, возможно, подтолкнула к различению так называемых революций осевого времени и новейших революций XIX–XX вв. В частности, Ш. Эйзенштадт, признанный классик теории революции, утверждает, что «осевые революции» выражали напряженность между трансцендентальным и мирским порядками. Разделение мирского и внемирского социального порядка приводит к интеллектуальной и нравственной напряженности — изменению принципов регулирования общества и человеческого поведения. В результате складывается новая эпоха, характеризующаяся внедрением нового мировоззрения²¹. Революции же новейшего времени «не следует рассматривать в качестве естественного и неизбежного процесса; скорее это уникальная форма развития, или мутация. Такая мутация происходит при специфических условиях, которые не могут быть обнаружены в многочисленных обществах»²². В этой связи возникает вопрос, а можно ли говорить об общих признаках

революции как таковой, о едином понятии революции²³?

В современной социологической литературе²⁴ существует достаточно большое количество подходов к определению понятия, причин, этапов революции. П. Штомпка выделяет историко-социологическую и социологическую традиции среди теоретических концепций революции. Первая акцентирует внимание на разрыве длительного исторического процесса. Вторая рассматривает революцию как комплекс процессов, происходящих внутри данного общества, посредством массовых социальных движений, приводящих к принципиальным изменениям, преобразованию основных социальных структур²⁵. «Современное определение революции исходит из обеих охарактеризованных выше традиций и представляет собой синтез их основных идей, а именно представление о фундаментальном характере изменений, охватывающих широкую социальную сферу, а также о массовой мобилизации, стремительном темпе и внезапности самого хода перемен»²⁶.

От других форм социальных изменений революции, по мнению П. Штомпки, отличаются пятью особенностями. 1. Они затрагивают все уровни и сферы общества: экономику, политику, культуру, социальную организацию, повседневную жизнь индивидов. 2. Во всех этих сферах революционные изменения имеют радикальный, фундаментальный характер, пронизывают основы социального устройства и функционирования общества. 3. Изменения, вызываемые революциями, исключительно быстры, они подобны неожиданным взрывам в медленном потоке исторического процесса. 4. По всем этим причинам революции представляют собой наиболее характерные проявления изменений; время их свершений исключительно и, следовательно, особенно памятно. 5. Революции вызывают необычные реакции у тех, кто в них участвовал или был их свидетелем. Это взрыв массовой активности, это энтузиазм, возбуждение, подъем настроения, радость, оптимизм, надежда; ощущение силы и могущества,

¹⁸ См.: Штомпка П. Социология социальных изменений. М.: Аспект-Пресс, 1996. С. 369.

¹⁹ Заметим, что в середине XX в. еще можно обнаружить такую оценку революций, как «секуляризация нового начала истории, воплощенного Христом» (Arendt H. On Revolution. N.Y.: Viking, 1966. P. 85–86).

²⁰ Штомпка П. Социология социальных изменений. С. 369–370.

²¹ См.: Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций. М.: Аспект Пресс, 1999.

²² Там же. С. 386.

²³ Ш. Эйзенштадт в качестве признаков современных революций называет связь между различными движениями протеста, их воздействие на политическую борьбу в центре, ярко выраженную идейную основу и наличие самостоятельной структурной организации. (Там же. С. 223 и след). Этот же вопрос хотелось бы задать и О. Розенштоку-Хюсси, который движущую силу четырех революций определяет как религиозный порыв, а современные революции объявляет сатанинской силой, приходящей на смену войне. (См.: Rosenstock-Huessy O. Die Europaeschen Revolutionen und der Charakter der Nationen. Moers, 1987).

²⁴ А социология или, точнее, — социальная философия — выступает метаоснованием для всех общественных наук, в том числе и для юридической науки.

²⁵ См.: Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М.: Логос, 2005. С. 561.

²⁶ Там же.

сбившихся надежд; обретение смысла жизни и утопические видения ближайшего будущего²⁷.

Революции, по мнению польского социолога, отличаются от других видов перемен частичного характера тем, что государственный переворот (или дворцовый переворот, свержение правительства) — это только внезапная смена правящей группы, перестановка сил внутри политической элиты, без глубокой модификации политических или социальных структур. Военный путч — это захват власти генералами или офицерами (военной хунтой), что также, как правило, не связано с реструктуризацией социальной системы, а самое большее касается ограничения или нарушения гражданских прав и свобод. Восстания (или народные бунты) — это массовые спонтанные выступления населения против репрессивной власти, которые могут привести к частичным уступкам без более глубоких системных изменений. Гражданская война — это силовые столкновения противостоящих друг другу социальных группировок, мотивированные главным образом этническими или религиозными, а иногда идеологическими расхождениями, причем целью таких группировок является скорее приобретение власти в рамках существующего строя, нежели смена самого этого строя. Беспорядки, манифестации — это спонтанные экспрессивные взрывы недовольства, выражающиеся в резких коллективных действиях, не руководящихся, однако, какой-либо четкой программой изменений. Все названные выше явления, — указывает П. Штомпка, — могут, конечно, сопутствовать революциям, представлять собой сочетание силы или грани революционной ситуации, однако они не идентичны революциям²⁸.

Заметим, что предложенное определение революции является, во-первых, неполным, а во-вторых, противоречивым. Неполнота данного определения связана с отсутствием юридической стороны революции, которая принципиально важна, но которая не получила освещения в развернутом определении польского социолога. Любая революция — это всегда незаконное, антиконституционное явление, выражающееся в насильственном свержении существующего конституционного строя. Она нарушает действующее законодательство, причем прежде всего законодательство в области конституционного права, закрепляющего основы общественного устройства.

Противоречивость изложенного определения состоит в том, что революции сами по себе, — справедливо утверждает П. Штомпка, — «никогда не заканчиваются тем, о чем мечтали революционеры <...> а часто завершаются прямо

противоположным»²⁹. Кардинальные изменения в обществе происходят благодаря реформам, которые зачастую выступают «контрреволюцией». Так, политика НЭПа — это, очевидно, отказ от политики «военного коммунизма», воспринимаемая многими именно как контрреволюция. С другой стороны, гораздо более глубокие перемены в обществе и за более короткий срок происходили именно благодаря успешным реформам — Мэйдзи в Японии XIX в. или Л. Эрхарта в ФРГ после Второй мировой войны.

В то же время следует иметь в виду, что любая социальная инновация, более или менее значительная по своим масштабам, всегда оформляется юридически и, как правило, представляет собой правовой произвол, то есть противоправное деяние. В этой связи следует привести рассуждения П. Бурдые, навеянные идеями Б. Паскаля. «Единственно возможное основание закона, — пишет П. Бурдые, — в истории, которая, если быть точным, уничтожает любое основание <...> *Основа закона есть ни что иное, как произвол, то есть по Б. Паскалю — “правда узурпации”*. А видимость естественности, необходимости закону придает то, что я называю “амнезией происхождения”»³⁰. В революционный период этот юридический произвол очевиден.

В таком случае, что же такое революция? Исходя из основных посылок постклассической юридической науки, можно утверждать, что *революция — это то, что считается «революцией» в общественном сознании — как властью (господствующей в области официальной номинации социальной группой), так и оппозиционными социальными группами и широкими массами населения. При этом обязательно должны присутствовать представления о насильственной и незаконной смене политического режима, кардинальных изменениях в общественно-политическом устройстве и массовой поддержке таких изменений*.

Представление о революции, как было показано выше, исторически изменчиво, подвержено политической и идеологической конъюнктуре и конструируется дискурсом власти (как официальной, так и оппозиционной). В свою очередь, официальное представление об историческом явлении (в нашем случае — о революции) не может не учитывать господствующую в обществе (сегодня — как в глобальном обществе, так и данном локальном социуме) картину мира и настроения народных масс, во многом определяющие оценку исторического события.

Сегодня — в «постклассическую» эпоху — происходит переосмысление феномена револю-

²⁷ См.: Штомпка П. Социология социальных изменений. С. 367.

²⁸ См.: Штомпка П. Социология. С. 562–563.

²⁹ Он же. Социология социальных изменений. С. 369.

³⁰ Бурдые П. За рационалистический историзм // Социологос³ 97. М.: Ин-т эксперимент. социологии, 1996. М., 1996. С. 15.

ции. Новый исторический и социокультурный контексты (которые взаимообуславливают друг друга) задают новое значение концепту «революция» — новое его использование в дискурсивных политико-правовых практиках. Глобализация мира приводит к установлению нового мирового политико-юридического порядка, в котором невозможность новой — и последней — мировой войны превращает военные столкновения в «полицейские операции», в котором унифицируются стандарты оценки социальных угроз, и доминирующим (хотя не единственным) отношением становится воспроизводство сущствующего общественного порядка. В такой ситуации официальная оценка революции становится консервативно-негативной. Собственно говоря, уже во второй половине XX в. эта идея становится достаточно влиятельной, а сегодня — господствующей. Так, Ф. Фюре и некоторые другие французские интеллектуалы стали оценивать Французскую революцию 1789 г. «с ревизионистских позиций». Так, они «отрицали и то, что революция лежит в основании современного государства (она всего лишь исток его "политической культуры"), и то, что она была неизбежна. Фюре и его сторонники стремились оспорить революционное — демократическое, насильственное — происхождение современного западного государства. С одной стороны, как они утверждали, революция в действительности не является истоком этого государства, вызревшего в недрах старой монархии, а с другой стороны, все цели революции были с тех пор осуществлены этим государством мирным путем: на нынешний момент революция более не актуальна. Современное государство обретает свою легитимность через консенсус, а не через революцию»³¹.

Таким образом, революция сегодня перестала выполнять функцию легитимации государственной власти и правовой системы³². По крайней мере, в глазах элиты и широких народных масс основанием легитимности сегодня выступает способность власти обеспечить стабильность в сложно структурированном, конфликтогенном социуме и фактическое ее — стабильности — осуществление. Умение убедить население в том, что власть контролирует угрозы, эффективно их предотвращает — главное условие и фактор процесса легитимации власти и права.

³¹ Магун А.В. Указ. соч. С. 54.

³² В середине XX в. Х. Арэнд утверждала, что основанием легитимности власти и государства является акт его — политического сообщества — учреждения. (См.: Arendt H. *Op. cit.* P. 39, 161, 164). Однако она основывает свое утверждение на римской и иудео-христианской традициях, полагая их универсальными. Сегодня в ситуации «приватизации политического» (термин М. Хардта и А. Негри) именно обеспечение приватного является условием поддержки власти «мировой империи» (См.: Хардт М., Негри А. *Империя*. М.: Праксис, 2004. С. 179).

Это же характерно и для оценки Великой Октябрьской социалистической революции (как она долгое время именовалась официальной властью), как и любой революции вообще. Отношение официальной власти в нашей стране к событиям 1917 г. исторически менялось. Так, сразу после событий октября 1917 г. сами большевики называли эти действия переворотом³³. Однако затем власть начинает героизировать и легитимировать захват власти, объявляя его народным гневом, руководимым и направляемым партией, против гнета ненавистного царизма и Временного правительства. Поэтому можно согласиться с Р. Пайпсом, который пишет: «Советское правительство, контролировавшее основной корпус источников и начальствовавшее над историографией, желало, чтобы его источник легитимности — революция — описывалось сообразно его же установкам. Десятилетиями целеустремленной подачи исторических событий оно сумело не только установить каноны описания событий, но и определить их выбор. Среди многих тем, запретных для историографии, — роль либералов в революциях 1905 и 1917 гг., заговорщический характер большевистского октябрьского переворота, категорическое неприятие большевистского режима через полгода после прихода его к власти всеми классами, включая и рабочих»³⁴.

Понятие (точнее — концепт) революции относится к социальным представлениям — разделяемыми социальной группой убеждениями, идеями, ценностями, понятиями, выражающими отношение группы к социально значимому объекту (в нашем случае — к революции)³⁵. Важно отметить, что социальные представления — это знания здравого смысла, предназначенные для осмысления социального мира. Они заменяют мифы и религию в современном обществе. Структуру социального представления образуют информация (сумма знаний об объекте), поле представления (значения и смыслы информации) и аттитюд (общая ориентация субъекта по отношению к объекту)³⁶. При этом социальные представления формируются преимущественно властным дискурсом, и, в свою очередь, формируют социальную реальность.

Властный дискурс сегодня представлен, прежде всего, средствами массовой (преимуще-

³³ «Октябрьское вооруженное восстание» создавалось послереволюционными массовыми инсценировками, в которых массы участвовали в качестве коллективного исторического персонажа и реального творца современного мифа об этом событии (См.: Малышева С.Ю. *Историческая мифология советских революционных «праздников» // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории*. Вып. 10. М., 2003. С. 236).

³⁴ Пайпс Р. *Русская революция*. Ч. 1. М.: Захаров, 1994. С. 9.

³⁵ См.: Moscovici S. *On Social representations // Social cognition: Perspectives on everyday understanding / ed. by P.J. Forgas*. London: Academic Press, 1981.

³⁶ Moscovici S. *The phenomenon of social representations // Social representations / ed. by M. Farr, S. Moscovici*. Cambridge, Paris: Cambridge University Press, 1984.

ственно электронной) информации. Ж. Бодрийяр утверждает, что СМИ формирует массу, которая, по его мнению, уничтожила социальность, поглотив ее, так как масса — это «молчаливое большинство», сформированное и упрощенное СМИ, совокупность абстрактных индивидов, обладающих совместным качеством пассивности, индифферентности, которые в состоянии только молча наблюдать спектакль, разыгрываемый телевизионщиками³⁷. Эту позицию разделяет Б. Дубин: «Сегодняшних россиян объединяет телевизор, то есть символическая причастность к символически представленному и увиденному со стороны общему миру — без обратной связи с ним, без практических действий по созданию и поддержанию этого общего мира <...> В качестве зрительской массы, смотрящей на мир политики, эстрады, спорта, криминала со стороны, население России становится все однородней. Но именно как пассивная масса, принимающая происходящее, что бы ни случилось»³⁸. Это характерно и для формирования образа прошлого, в том числе революции. Телевидение «поставляет огромной аудитории образы прошлого и формирует представление об облике той или иной исторической эпохи, ее важнейших событиях и их смыслах <...> Телевидение разработало собственные технологии производства прошлого, особые формы обращения с историческим источником, свидетельством, событием»³⁹.

Отношение к событиям 1917 г. в современном российском обществе неоднозначно. Оно и не может быть иным в силу расколотости нашего социума по множеству оснований: близости к власти, уровню достатка, образования, по национальному, религиозному, территориальному, идеологическому критериям и др.⁴⁰ «В современной России преобладают процессы автономизации, а не интеграции, коллективные формы существования практически уничтожены, и, по большому счету, никому ни до кого (кроме семьи, ближайшего окружения) нет дела. Соответственно, значительно сузился общий с дру-

гими смысловой мир обычного россиянина», — пишет И.И. Глебова⁴¹. На этом же настаивает В.Г. Федотова, квалифицируя современное российское общество как аномическое, находящееся в состоянии аномии, в котором рассредоточены официально признанные значения по различным стратам социума, а такие общие концепты, как благо, добро, справедливость, хорошее общество, сострадание, жалость перестают быть всеобщими представлениями естественной повседневной установки. Исчезает тот запас знаний, та «фабрика значений», которая присуща любому обществу⁴².

В такой ситуации общественное мнение еще в большей степени становится манипулируемым со стороны властной элиты. В то же время представления властной элиты вообще и о революциях 1917 г. в частности также подвержены политической конъюнктуре и исторически изменчивы. Рассмотрим тенденции генезиса общих политических (идеологических) представлений нашего «политического класса» и, соответственно, изменения представлений о революциях февраля и октября 1917 г. последних десятилетий.

Господствующие ожидания конца 80-х начала 90-х гг. XX в. в массовом сознании интеллигенции и читающей публики нашего общества были связаны с отказом от коммунистического проекта и приходом западных — либеральных — ценностей. Среди них доминировали ценности «продуктового изобилия» (уровня жизни «как на Западе»), парламентаризма, прав человека. Важно отметить, что демократия в то время, да и сейчас подменялась в нашем обществе (в том числе, депутатами «первого призыва») экономическим благосостоянием. Так, Т.П. Емельянова, анализируя социальные представления россиян о демократии отмечает, «в первую очередь, наличие экономической составляющей» по сравнению с представлениями о демократии жителей Центральной и Западной Европы⁴³. «Появление в содержании представлений о демократии столь сильно выраженной экономической составляющей не в последнюю очередь связано и с тем, как трактовалась проблема демократизации в период ее активной пропаганды в начале 1990-х гг. пришедшими к власти демократами. Переход к демократии преподносился как автоматический переход к западному образу жизни, со всеми присущими ему и привлекательными для советского человека сторонами — свободным рынком, воз-

³⁷ Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или конец социального. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2000. С. 8–9.

³⁸ Дубин Б. Интеллектуальные группы и символические формы: Очерки социологии современной культуры. М., Новое издательство, 2004. С. 222.

³⁹ Зверева В. История на ТВ: конструирование прошлого // Отечественные записки. 2004. № 5. С. 160.

⁴⁰ Интересно, что некоторые западные исследователи отмечают резкое ослабление ощущения коллективной идентичности в массовом общественном сознании. В этом смысле весьма симптоматично заявление И. Хеслера: «Коллективная идентичность» — это иллюзия реальности, подпитываемая интеллектуалами и правящими кругами. Общество не может быть сведено к «мы» и вовсе не нуждается в этом» (Хеслер И. Что значит «проработка прошлого»? Об историографии Великой Отечественной войны в СССР и России // Неприкосновенный запас. 2005. № 2–3. С. 95).

⁴¹ Глебова И.И. Политическая культура России: образы прошлого и современность. М.: Наука, 2006. С. 65.

⁴² «Хорошее общество»: Социальное конструирование приемлемого для жизни общества / отв. ред. В.Г. Федотова. М.: ИФ РАН, 2003. С. 19.

⁴³ Емельянова Т.П. Конструирование социальных представлений в условиях трансформации российского общества. М.: Ин-т психологии РАН, 2006. С. 261.

можностями личной реализации в частной предпринимательской деятельности, экономическим процветанием и т.д.»⁴⁴.

С другой стороны, общие политические представления были (и не могли не быть) чрезвычайно абстрактными по содержанию. Это связано с тем, что их невозможно было эмпирически проверить в нашей социально-политической (и правовой) реальности, а поэтому наполнить конкретикой. В то же время на Западе в это время происходит переоценка ценностей: идеология неоллиберализма подвергается активной критике со стороны как коммунитаризма, так и постмодернизма. Поэтому конкретизировать общие представления о свободе личности, справедливости и т.д. на основе западного опыта в тот период не представлялось возможным. Не менее важным представляется также то, что анитикоммунистическое массовое недовольство, как и любое массовое протестное движение, не может иметь конкретной позитивной программы социальных преобразований «по определению», так как основывается исключительно на отрицании и охватывает лишком разные социальные группы, слои общества⁴⁵.

Все это неизбежно сказывается на представлениях о революциях 1917 г. Февральская революция в тот период наделяется исключительно позитивными оценками. Она трактуется как упущенная возможность построения либерального общества в нашей стране. В то же время октябрьская революция окрашивается негативными оценками: захват и узурпация власти, террор и т.п.

В середине 90-х г.г. XX в. в нашем обществе и части элиты происходит разочарование либеральными реформами. Обещанного «экономического» чуда не произошло, а для подавляющей части населения реформы вылились в обнищание, утрату социального статуса (для учителей, врачей и других бюджетников), ощущения безопасности. Отсюда основным экзистенциальным и политическим мотивом становится элементарное выживание. «Ведущий уровень повседневной реальности фиксируется индивидуальными и семейными тактиками прагматического выживания, принудительной адаптации»⁴⁶. Ю.А. Левада небезосновательно считал, что постсоветский человек может быть назван как «человек терпеливый», основная адаптационная стратегия которого — пассивное приспособление⁴⁷. Отсюда

⁴⁴ Там же. С. 262.

⁴⁵ Поэтому после прихода к власти такие массовые движения — «Народные фронты» — неизбежно распадаются. Они объединяют слишком разные группы населения (иначе они бы не победили) и никогда не смогут договориться о конкретных позитивных действиях после прихода к власти.

⁴⁶ Дубин Б. Указ. соч. С. 215.

⁴⁷ Левада Ю. От мнений к пониманию: Социологические очерки 1993–2000. М.: Е.В. Карпов, 2011. С. 139–175.

трактовка демократии как «нечто абсолютно внешнее». Действительность средним россиянином воспринимается как «управляемую различными силами, понять и влиять на которые он едва ли в состоянии»⁴⁸.

В такой ситуации в массовом сознании, которое оказывает влияние на социальные представления элиты, происходят «реставрационные» процессы: либеральные ценности превращаются в ругательство и торжествует ностальгия по стабильности⁴⁹. В связи с этим меняется оценка революции 1917 г. Она становится более поляризованной в сознании элит, а в массовом представлении возобладают в большей степени позитивные оценки.

Начало XXI в. совпало с периодом стабилизации в нашем социуме. В связи с этим происходит некоторое успокоение политических дебатов, в том числе по оценке таких неоднозначных и идеологически конъюнктурных событий, как революция 1917 г. Накал страстей очевидно спал, и даже показ по 1 каналу ТВ сенсационных разоблачений финансирования революции 1917 г. не только Германией Ленина, но и США Троцкого не произвел особого впечатления на общественность. Это лишний раз подтверждает общий вывод: актуализация какого-либо исторического события (например, революций 1917 г.) связана с изменениями общественного сознания, прежде всего, господствующих социальных групп в современном социуме. «Современное русское общество — пишет И.И. Глебова, — требует устойчивой (крепкой), непрерывной позитивной базовой идентификации, подкрепленной адекватным общим прошлым. Оно отторгает те образы прошлого, которые ставили бы под сомнение такую идентификацию. Сейчас, когда до столетия Октябрьской революции осталось чуть более десяти лет, мы наблюдаем попытки избавиться от этого будоражающего и разделяющего События нашей истории. Его не взяли в общее прошлое, так как обещает оно вовсе не единение и покой — тревожит «предчувствием гражданской войны», внутреннего раскола»⁵⁰.

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод, что революция — это социальное представление, формируемое политико-правовыми дискурсивными практиками власти о радикальном изменении социально-политической организации общества, о разрыве преемственности его эволюции, сопровождаемым кардинальной трансформацией правовой системы социума. С официально-юридической точки зрения такие изменения всегда незаконны. Если в эпоху Нового и Новейшего времени революции были основанием

⁴⁸ Емельянова Т.П. Указ. соч. С. 263.

⁴⁹ Не случайно с середины 90-х гг. время правления Л.И. Брежнева воспринимается как самое лучшее в истории нашей страны.

⁵⁰ Глебова И.И. Указ. соч. С. 70.

легитимации нового политического режима, то сегодня оценка революционных преобразований кардинально изменилась. Революции никогда не достигают тех целей, ради которых они совершались, гораздо более продуктивными являются социальные (и правовые) реформы. Основанием легитимации власти и права сегодня является успешность социальных преобразований, а не революционная смена режима. Время революций осталось в прошлом — таков диагноз постсовременного социума, что не отменяет важность их изучения, в том числе, юридической наукой.

Список литературы:

1. Бауман З. Индивидуализированное общество. М.: Логос, 2002. 390 с.
2. Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или конец социального. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2000. 96 с.
3. Болтански Л., Тевено Л. Критика и обоснование справедливости: Очерки социологии градов. М.: НЛО, 2013. 576 с.
4. Бурдые П. За рационалистический историзм // Социологос' 97. М.: Ин-т эксперимент. социологии, 1996. С. 9–29.
5. Бурдые П. О символической власти // Бурдые П. Социология социального пространства. М.; СПб.: Ин-т эксперимент. социологии: Алетейя, 2005. С. 87–97.
6. Бурдые П. Общественное мнение не существует // Бурдые П. Социология политики. М.: Socio-Logos, 1993. С. 159–178.
7. Бурдые П. Социальное пространство и генезис «классов» // Бурдые П. Социология политики. М.: Socio-Logos, 1993. С. 53–98.
8. Гидденс Э. Социология. М.: УРСС, 1999. 704 с.
9. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структуры. М.: Акад. проект, 2003. 528 с.
10. Глебова И.И. Политическая культура России: образы прошлого и современность. М.: Наука, 2006. 332 с.
11. Добрынин А.В. Теоретические предпосылки конструирования девиантности // Конструирование девиантности / сост. Я.И. Гишинский. СПб.: ДЕАН, 2011. С. 17–35.
12. Дубин Б. Интеллектуальные группы и символические формы: Очерки социологии современной культуры. М., Новое издательство, 2004. 352 с.
13. Емельянова Т.П. Конструирование социальных представлений в условиях трансформации российского общества. М.: Ин-т психологии РАН, 2006. 400 с.
14. Зверева В. История на ТВ: конструирование прошлого // Отечественные записки. 2004. № 5. С. 160–168.
15. Левада Ю. От мнений к пониманию: Социологические очерки 1993–2000 гг. М.: Е.В. Карпов, 2011. 506 с.
16. Ленуар Р., Мерлье Д., Пэнто Л., Шампань П. Начала практической социологии. М.; СПб.: Ин-т эксперимент. социологии: Алетейя, 2001. 410 с.
17. Магун А.В. Отрицательная революция: к деконструкции политического субъекта. СПб.: Европ. ун-т в СПб., 2008. 416 с.
18. Мальшева С.Ю. Историческая мифология советских революционных «празднеств» // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 10. М., 2003. С. 37–38.
19. Пайпс Р. Русская революция. Ч. 1. М.: Захаров, 1994. 480 с.
20. Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. М.: Касталь, 1996. 448 с.
21. Хартд М., Негри А. Империя. М.: Праксис, 2004. 440 с.
22. Хеслер И. Что значит «проработка прошлого»? Об историографии Великой Отечественной войны в СССР и России // Неприкосновенный запас. 2005. № 2–3. С. 92–97.
23. «Хорошее общество»: Социальное конструирование приемлемого для жизни общества / отв. ред. В.Г. Федотова. М.: ИФ РАН, 2003. 182 с.
24. Шампань П. Делать мнение: новая политическая игра. М.: Socio-Logos, 1997. 317 с.
25. Штомпка П. Социология социальных изменений. М.: Аспект-Пресс, 1996. 416 с.
26. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М.: Логос, 2005. 664 с.
27. Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций. М.: Аспект Пресс, 1999. 416 с.
28. Arendt H. On Revolution. N.Y.: Viking, 1966. 350 p.
29. Buzan B., Woewer O., Wilde J. Security: a New Framework for Analysis. Boulder, London: Lynnie Rienner, 1998. 303 p.
30. Campbell D. Writing Security: United States Foreign Policy and the Politics Identity. 2 ed. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1998. 289 p.
31. Gallie W. Essentially Contested Concepts // Proceedings of the Aristotelian Society. 1955–1956. Vol. 56. P. 67–198.
32. Moscovici S. On Social representations // Social cognition: Perspectives on everyday understanding / ed. by P.J. Forgas. London: Academic Press, 1981. P. 181–210.
33. Moscovici S. The phenomenon of social representations // Social representations / ed. by M. Farr, S. Moscovici. Cambridge, Paris: Cambridge University Press, 1984. P. 3–69.
34. Putnam H. Reason, Truth and History. Cambridge: Cambridge University Press, 1981. 218 p.
35. Rosenstock-Huussy O. Die Europaeschen Revolutionen und der Charakter der Nationen. Moers: Brendow Verlag, 1987. 215 s.

Revolution from the perspective of the post-classical legal theory

Chestnov I.L.,

Doctor of Law,

Professor of the Department of theory and history of State and Law
of the St. Petersburg law Institute of the Academy

of the Prosecutor General of the Russian Federation,
honored lawyer of the Russian Federation

E-mail: ichestnov@gmail.com

Abstract. *The author analyses revolution as a politic-legal phenomenon. Concept of revolution from the perspective of the post-classical methodology is imbuing with new content. Concept of revolution today is a social image, which is constructed by the autocratic politic-legal discourses and has negative population perception.*

Keywords: *revolution, legal theory, post-classical methodology.*

References:

1. Bauman Z. Individualizirovannoe obshchestvo. M.: Logos, 2002. 390 s.
2. Bodrijjar Zh. V teni molchalivogo bol'shinstva, ili konec social'nogo. Ekaterinburg: Izd-vo Ural'skogo universiteta, 2000. 96 s.
3. Boltanski L., Taveno L. Kritika i obosnovanie spravedlivosti: Oчерki sociologii gradov. M.: NLO, 2013. 576 s.

4. Burdë P. Za racionalisticheskij istorizm // Sociologos' 97. M.: In-t jeksperiment. sociologii, 1996. S. 9–29.
5. Burdë P. O simvolicheskoy vlasti // Burdë P. Sociologija social'nogo prostranstva. M.; SPb.: In-t jeksperiment. sociologii: Aletejja, 2005. S. 87–97.
6. Burdë P. Obshhestvennoe mnenie ne sushhestvuet // Burdë P. Sociologija politiki. M.: Socio-Logos, 1993. S. 159–178.
7. Burdë P. Social'noe prostranstvo i genezis «klassov» // Burdë P. Sociologija politiki. M.: Socio-Logos, 1993. S. 53–98.
8. Giddens Je. Sociologija. M.: URSS, 1999. 704 c.
9. Giddens Je. Ustroenie obshhestva: Ocherk teorii strukturacii. M.: Akad. proekt, 2003. 528 c.
10. Glebova I.I. Politicheskaja kul'tura Rossii: obrazy proshlogo i sovremennost'. M.: Nauka, 2006. 332 c.
11. Dobrynin A.V. Teoreticheskie predposylki konstruirovanija deviantnosti // Konstruirovanie deviantnosti / sost. Ja. I. Gilin-skij. SPb.: DEAN, 2011. S. 17–35.
12. Dubin B. Intellektual'nye gruppy i simvolicheskie formy: Ocherki sociologii sovremennoj kul'tury. M., Novoe izdatel'stvo, 2004. 352 s.
13. Emel'janova T.P. Konstruirovanie social'nyh predstavlenij v uslovijah transformacii rossijskogo obshhestva. M.: In-t psihologii RAN, 2006. 400 s.
14. Zvereva V. Istorija na TV: konstruirovanie proshlogo // Otechestvennye zapiski. 2004. № 5. S. 160–168.
15. Levada Ju. Ot mnenij k ponimaniju: Sociologicheskie ocherki 1993–2000 gg. M.: E.V. Karpov, 2011. 506 s.
16. Lenuar R., Merle D., Pjento L., Shampan' P. Nachala prakticheskoy sociologii. M.; SPb.: In-t jeksperiment. sociologii: Aletejja, 2001. 410 s.
17. Magun A.V. Otricatel'naja revoljucija: k dekonstrukcii politicheskogo subëkta. SPb.: Evrop. un-t v SPb., 2008. 416 s.
18. Malysheva S.Ju. Istoricheskaja mifologija sovetских revoljucionnyh «prazdnestv» // Dialog so vremenem. Al'manah intellektual'noj istorii. Vyp. 10. M., 2003. S. 37–38.
19. Pajps R. Russkaja revoljucija. Ch. 1. M.: Zaharov, 1994. 480 s.
20. Fuko M. Volja k istine: po tu storonu znanija, vlasti i seksual'nosti. Raboty raznyh let. M.: Kastal', 1996. 448 s.
21. Hartd M., Negri A. Imperija. M.: Praksis, 2004. 440 s.
22. Hesler I. Chto znachit «prorabotka proshlogo»? Ob istoriografii Velikoj Otechestvennoj vojny v SSSR i Rossii // Neprikosno-vennyj zapas. 2005. № 2–3. S. 92–97.
23. «Horoshee obshhestvo»: Social'noe konstruirovanie priemlegogo dlja zhizni obshhestva / otv. red. V.G. Fedotova. M.: IF RAN, 2003. 182 s.
24. Shampan' P. Delat' mnenie: novaja politicheskaja igra. M.: Socio-Logos, 1997. 317 s.
25. Shtompka P. Sociologija social'nyh izmenenij. M.: Aspekt-Press, 1996. 416 s.
26. Shtompka P. Sociologija. Analiz sovremennogo obshhestva. M.: Logos, 2005. 664 s.
27. Jezzenshtadt Sh. Revoljucija i preobrazovanie obshhestv. Sravnitel'noe izuchenie civilizacij. M.: Aspekt Press, 1999. 416 s.
28. Arendt H. On Revolution. N.Y.: Viking, 1966. 350 p.
29. Buzan B., Woewer O., Wilde J. Security: a New Framework for Analysis. Boulder, London: Lynnie Rienner, 1998. 303 r.
30. Campbell D. Writing Security: United States Foreign Policy and the Politics Identity. 2 ed. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1998. 289 r.
31. Gallie W. Essentially Contested Concepts // Proceedings of the Aristotelian Society. 1955–1956. Vol. 56. P. 67–198.
32. Moscovici S. On Social representations // Social cognition: Perspectives on everyday understanding / ed. by P.J. Forgas. London: Academic Press, 1981. P. 181–210.
33. Moscovici S. The phenomenon of social representations // Social representations / ed. by M. Farr, S. Moscovici. Cambridge, Paris: Cambridge University Press, 1984. P. 3–69.
34. Putnam H. Reason, Truth and History. Cambridge: Cambridge University Press, 1981. 218 r.
35. Rosenstock-Huessy O. Die Europaeschen Revolutionen und der Charakter der Nationen. Moers: Brendow Verlag, 1987. 215 s.